

Александр Куприн

Чужой хлеб



Александр Иванович Куприн

Чужой хлеб

*Текст предоставлен правообладателем
Чужой хлеб: 1896*

Аннотация

«...Обвиняемый вздрогнул и нервно схватился длинными, тонкими пальцами за перила, отделяющие скамью подсудимых. Это был невзрачный, худенький человек, с робкими движениями и затаенной испуганностью во взгляде. Светлые, редкие, как будто свалявшиеся волосы на голове и бороде и совершенно белые ресницы придавали его бледному лицу болезненный, анемичный вид... Он обвинялся в том, что, проживая у своего дальнего родственника, графа Венцепольского, в ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое января произвел в квартире последнего поджог с заранее обдуманном намерением. Медицинская экспертиза определила полную нормальность его душевных и умственных качеств...»

Александр Иванович Куприн Чужой хлеб

– Подсудимый, вам законом предоставлено последнее слово, – сказал председатель суда равнодушным тоном, с полузакрытыми от утомления глазами. Что вы можете прибавить в разъяснение или оправдание вашего поступка?

Обвиняемый вздрогнул и нервно схватился длинными, тонкими пальцами за перила, отделяющие скамью подсудимых. Это был невзрачный, худенький человек, с робкими движениями и затаенной испуганностью во взгляде. Светлые, редкие, как будто свалывшиеся волосы на голове и бороде и совершенно белые ресницы придавали его бледному лицу болезненный, анемичный вид... Он обвинялся в том, что, проживая у своего дальнего родственника, графа Венцепольского, в ночь с двадцать третьего на двадцать четвертое января произвел в квартире последнего поджог с заранее обдуманым намерением. Медицинская экспертиза определила полную нормальность его душевных и умственных качеств. По ее словам, замечалась некоторая повышенная чувстви-

тельность нервной системы, склонность к неожиданным слезам, слабость задерживающих центров, – но и только.

До сих пор подсудимый казался равнодушным, почти безучастным к разбирательству его дела. Торжественная, подавляющая обстановка судебного заседания, расшитые мундиры судей, красное с золотой бахромой сукно судейского стола, огромная двухсветная истопленная зала, величественные портреты по стенам, публика за барьером, суетливые пристава, исполненные достоинства присяжные, олимпийская небрежность прокурора, бессодержательная развязность защитника – все это произвело на него ошеломляющее впечатление. Ему казалось, что он попал под зубья какой-то гигантской машины, остановить которую, хотя бы на мгновение, не в силах никакая человеческая воля.

Много раз во время речи защитника ему хотелось встать и крикнуть: «Вы не то, совсем не то говорите, господин адвокат. Дело было иначе. Замолчите и дайте мне самому рассказать всю историю моего преступления», – и вслед за тем уверенным голосом, в ясных и трогательных выражениях, передать все свои тогдашние мысли, все, даже самые тонкие, неуловимые ощущения. Но машина продолжала вертеться так правильно и так безучастно, что сопротивляться

ей было невозможно.

Однако последние слова председателя вдруг пробудили в подсудимом судорожную энергию отчаяния, являющуюся у людей в момент окончательной гибели, – ту самую энергию, с которой осужденный на смерть иногда борется на эшафоте с палачом, надевающим на шею веревку.

И умоляющим голосом он воскликнул:

– О да, господин председатель!.. Ради господина, ради самого бога, выслушайте меня... позвольте мне рассказать все, все!..

Присяжные заседатели изобразили на лицах сосредоточенное внимание, судьи углубились в рисование петушков на лежавших перед ними листах бумаги, публика напряженно затихла. Подсудимый начал:

– Когда я в начале прошлого года приехал в этот город, у меня не было никаких планов на будущее. Я, кажется, и родился неудачником. Мне никогда ни в чем не везло, и в сорок лет я оставался таким же беспомощным и непрактичным, как и во время моей юности.

Я обратился к графу Венцепольскому с просьбой протекции для получения какого-нибудь места. Я рассчитывал найти у него помощь, так как он приходился дальним родственником моей покойной матери. Граф, человек щедрый и снисходительный к чужим,

устроить меня в то время никуда не мог, но зато предложил мне до первого удобного случая поселиться у него в доме.

Я переехал к нему. Сначала он оказывал мне некоторые знаки внимания, но вскоре я приелся ему, и он перестал со мною стесняться. Должно быть, он так привык к моему присутствию, что считал меня чем-то вроде мебели. Тогда-то для меня и началась ужасная жизнь приживальщика – жизнь, полная горьких унижений, бессильной злобы, подобострастных слов и улыбок.

Чтобы понять всю мучительность этой жизни, надо испытать ее. Напрасно независимые и гордые люди думают, что привычка к прихлебательству вконец притупляет у человека способность дрожать от обиды, плакать от оскорбления. Никогда, никогда не был я так болезненно чувствителен к каждому слову, казавшему мне намеком на мое паразитство. Душа моя в это время была сплошной воспаленной раной – другого сравнения я не могу найти, – и каждое прикосновение к ней терзало ее, как обжог раскаленным железом. Но чем больше проходило времени, тем меньше я чувствовал в себе энергии, чтобы вырваться из этого унижительного положения. Я всегда был слаб, труслив и вял. Сытая жизнь на графских хлебах окончательно меня парализовала и развратила, разъела,

как ржавчина, остатки моей самостоятельности. Иногда ночью, ложась спать и переживая вновь бесконечный ряд дневных унижений, я задыхался от злобы и говорил себе: «Нет, завтра конец! Я уйду, уйду, бросив в лицо графу много горьких и дерзких истин. Лучше и голод, и холод, и платье в заплатках, чем это подлое существование».

Но наступало «завтра». Решимость моя пропадала. Опять мои губы искривлялись в жалкую, напряженную улыбку, опять я не смел и не умел положить руки на стол во время обеда, опять чувствовал себя неловким и смешным. Когда я отваживался напоминать графу о его обещании пристроить меня, он возражал со своим барским видом:

– Ну, чего вам торопиться, мой милый?.. Разве вам плохо у меня?.. Поживите пока, а там мы увидим...

Я замолкал. Я даже не пробовал отказываться, когда граф дарил мне какой-нибудь из своих немного поношенных костюмов. Эти костюмы были великолепны, но слишком широки для меня. Один из графских гостей как-то заметил, что платье на мне «точно с двоюродного братца», другой – грязный, циничный господин и, как говорили, шулер, – громко расхохотался на это замечание и нагло спросил меня:

– Вы, Федоров, вероятно, заказываете платье у одного портного с графом?

Никто из них не звал меня по имени-отчеству. Граф почти всегда забывал представлять меня своим знакомым, из которых большинство были такими же приживальщиками около него, как и я, но только они умели держать себя с графом на равной ноге, почти фамильярно, а я всегда оставался робким и подобострастным. Они ненавидели меня той острой, уродливой ненавистью, которая только и может быть между людьми, соперничающими из-за милости патрона.

Прислуга графа относилась ко мне со всей высокомерной, хамской наглостью, составляющей особенность людей этой профессии. За столом меня обносили кушаньем и винами. В их лакейских взглядах и словах я чувствовал презрение, которое они ко мне чувствовали, – презрение работника к трутню. Я сам убирал свою постель и чистил свое платье.

По вечерам иногда составлялся винт. Когда не хватало партнера, граф предлагал карточку и мне. У меня никогда не было своих денег, но я садился, страстно мечтая о выигрыше. Я играл с жадностью, с расчетом, с риском, и даже доходило до того, что внутренне молил бога о помощи. Как обыкновенно бывает в этих случаях, я проигрывал – всегда больше всех.

Когда игра кончалась и партнеры рассчитывались, я сидел с потупленными глазами, красный от стыда и судорожно ломал мелок. Когда молчать долее стано-

вилось невозможно, я, стараясь казаться небрежным, говорил:

– Граф... Пожалуйста... Будьте так добры... Я в настоящую минуту не при деньгах... Примите на себя мой проигрыш... Я вам завтра возвращу...

Конечно, это обещание никого не обманывало. Все знали, что ни завтра, ни послезавтра я своего долга не отдам.

Случалось, что вечером граф и его гости отправлялись в ресторан, а оттуда к женщинам. Меня приглашали вскользь, мимоходом, таким тоном, который уже сам по себе говорил об отказе. Я знал, что скажи я «нет», и меня с удовольствием оставят в покое. Но, клянусь истинным богом, я никогда не мог понять, какая сила заставляла меня раньше всех бежать в переднюю и суетливо надевать пальто.

За ужином много острили и безобразничали. Я должен был громко и часто смеяться, но смех доставлял мне столько же удовольствия, как ученой собаке. Если же меня самого осеняла веселая мысль или удачный каламбур, я не находил для них слушателей. Едва я раскрывал рот, как меня тотчас же перебивали. Все отворачивались от меня, и я, начиная в десятый раз одну и ту же фразу, тщетно перебегал глазами от одного собеседника к другому: ни одни глаза не встречались с моими.

Всего ужаснее были для меня ночи. Я спал в проходной узкой комнате, скорее похожей на коридор. Постелью мне служила старая кушетка с вылезшей наружу мочалой, с горбом посередине и с продавленными пружинами. Два отсутствующие передние ножки заменял мой же собственный чемодан.

О, как я ненавидел эту кушетку! Никогда ни к одному человеку я не питал такой безумной злобы, как к этой старой рухляди, от которой отказался бы любой старьевщик. По мере того как приближалась ночь, меня все более и более охватывал невыносимый ужас перед длинной бессонной ночью, ожидавшей меня. Наконец я ложился. Горб посередине кушетки впирался в мою спину, заставляя ее выгибаться, пружины резали бока, подушка казалась низкой и ежеминутно сползала. Через пять минут начиналась тупая, жесткая боль в затылке и пояснице. Голова разгорячалась, и в моем бедном мозгу мысли скакали и кружились в лихорадочном вихре... Создавались несбыточные, фантастические планы на будущее; ночью я им верил, этим планам, но на другое утро они меня пугали, как горячечный бред.

Все дневные впечатления, каждое мое и чужое слово, каждая обида, каждый плевок, каждое унижение вновь проходили в моей памяти. Я разбирался в них с тем жгучим наслаждением и с той глубокой, страш-

ной последовательностью, на которую только способен ум одинокого оскорбленного человека, и, воскрешая все эти подлые мелочи, я выкапывал со дна моей души такую гадкую грязь, что... Нет... о таких вещах даже и на суде, даже и в свою защиту нельзя говорить...

Друзья графа, проходя мимо моей кушетки, любили потешаться над ее убогим видом. Они называли ее прокрустовым ложем.

В тот день, когда я совершил преступление, один из знакомых графа, господин Лбов, пригласил всю компанию в ресторан вспрыснуть полученное им наследство. Я тоже стал одеваться. Когда мы вышли на лестницу, я нечаянно толкнул господина Лбова и извинился. Он отвечал:

– Ничего, пустяки...

И потом вдруг прибавил:

– Да вы, Федоров, напрасно и ехать-то беспокоитесь. Никто вас не приглашал.

Я остановился на крыльце, раздавленный этими жестокими словами. Гости шумно выходили на крыльцо в дверях кто-то из них крикнул:

– Идите и возлягте на ваше прокрустово ложе.

А другой подхватил:

– На ваше прохвостово ложе!

Они ушли, громко смеясь; я возвратился назад и

лег на кушетку. У меня была смутная надежда, что они пожалеют о своих словах и пришлют за мной, но никто не приходил... Два или три часа я проплакал едкими слезами бессильного бешенства. «Прохвостово» ложе причиняло мне боль. Я поднялся. Ненависть к кушетке переполнила мое сердце. Я собрал несколько картонок из-под шляп, набил их старой газетной бумагой, облил керосином, поставил под кушетку и зажег. Все это время я был в каком-то забытьи...

Когда я очнулся, вся комната пылала. Я ужаснулся своего поступка и стал звать на помощь. Остальное вам уже известно, господа присяжные...